

*Фред Холлидей*

## ХОЛОДНАЯ ВОЙНА: УРОКИ И НАСЛЕДСТВО<sup>1</sup>

Эта статья была первоначально написана для чтений в память профессора Леонарда Шапиро. Возможно, он не во всем согласился бы с ее содержанием, но я уверен: мы сошлись бы в том, что анализ и обсуждение холодной войны по-прежнему необходимы, так как конец ее (обычно его связывают с разрушением Берлинской стены два десятилетия назад) продолжает определять мир, в котором мы живем, и многому может научить нас.

Холодная война — это целая эпоха новейшей мировой и европейской истории, длившаяся более 40 лет. Она стоила человечеству 20–25 миллионов жизней (войны в Корее и Вьетнаме, в Южной Африке, на Сомалийском полуострове, в Центральной Америке). Изю всех крупных международных военных и стратегических конфликтов недавнего времени этот был наиболее всеобъемлющим по своему влиянию и наиболее многоаспектным по характеру, а также единственным, который из-за угрозы ядерной войны или случайной катастрофы нес столь серьезную опасность для человечества в целом. Этот конфликт должен нас, как и других, многому научить, и мы должны помнить, что он во многом до сих пор формирует современный мир (Аль-Каида, к примеру, его следствие), хотя, несмотря даже на отдельные ухудшения отношений между крупными государствами, как, например, из-за Грузии летом 2008 года, фактически невозможно представить, чтобы он начался снова.

В этой статье о холодной войне будут рассмотрены две взаимосвязанные темы: первая — конкретный исторический и аналитический вопрос о том, что холодная война из себя представляла, чем была вызвана и какие уроки мы можем извлечь из того, как она закончилась; вторая — более широкий вопрос, одновременно ретро- и перспективный, связанный с соперничеством капитализма и коммунизма как главных идеологий холодной войны, о формах и судьбах радикальных и критических направлений в современных мышлении и политике. Окончание холодной войны подвело итоги большевистской революции и коммунизма (и как движения, и как идеоло-

<sup>1</sup> Это исправленный текст выступления Government and Opposition/Leonard Shapiro Memorial Lecture 2009, сделанного на конференции в Манчестерском университете 7 апреля 2009 г.

гии), который был соперником Запада в течение этих десятилетий; однако оно не решило присущих современному обществу как внутри-, так и межгосударственных проблем, а также не отменило необходимости критицизма, скепсиса и поиска убедительных утопических альтернатив<sup>2</sup>.

Если мы дистанцируемся от нашего самодовольного мнения, что сегодня всякие идеологические споры прекратились, и исследуем крушение коммунистической традиции и связанных с ней форм авторитарного социализма, то нам придется вспомнить, что коммунизм и марксизм в своих разнообразных формах — не единственные радикальные, интернациональные и критические идеологии и что рабочий класс — не единственная сила, претендующая на то, чтобы изменить современное общество.

## МЕЖСИСТЕМНЫЙ КОНФЛИКТ: ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ И РОЛЬ ИДЕОЛОГИИ

Первая мировая война, если смотреть с исторической точки зрения, породила ту «Европейскую гражданскую войну», которая и определила, по формулировке Эрика Хобсбаума, «короткий» XX век. Холодная война, последовавшая за Первой и Второй мировыми войнами, стала последней и наиболее длительной частью этого периода. Поэтому здесь я бы хотел обратиться к холодной войне и попытаться установить, что именно определило этот уникальный международный конфликт, а главное — ответить на вопрос, почему и как он закончился<sup>3</sup>. Холодная война, с точки зрения многих, особенно современных, историков, представляет собой всего лишь стратегическое соперничество, которое ничем не отличается от других подобных конфликтов прошлого, а значит, и будущего: единственные вопросы, по поводу которых шли споры во время самой холодной войны, — это о ее причинах и о том, на ком лежит ответственность — на СССР или на Западе. Ортодоксальная точка зрения возлагала всю ответственность на сталинскую политику, особенно восточноевропейскую; «ревизионисты» же отвечали, что ответственность лежит не в меньшей степени, если не в большей, на Западе<sup>4</sup>. Элементами классического соперничества великих держав действительно были гонка вооружений, борьба за влияние в странах третьего мира, выстраивание противоборствующих альянсов и т. д. Однако, как заме-

2 О необходимой комбинации (а не о противопоставлении) утопического и реалистического мышлений см.: Carr E. H. *The Twenty Years Crisis*, new edn, with an introduction by Michael Cox. — Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004; а также мою работу: *The World at 2000*. — Basingstoke: Palgrave, 2001. — Ch. 10.

3 Здесь затронуты темы, которые я уже касался ранее. См. мои работы: *The Making of the Second Cold War*. — 2nd ed. — London: Verso, 1986; *The Ends of Cold War* // Robin Blackburn (ed.). *After the Fall*. — London: Verso, 1991; *Rethinking International Relations*. — Basingstoke: Macmillan, 1994. — Ch. 8: Intersystemic Conflict: the Case of Cold War; *Revolution and World Politics*. — Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1999, especially ch. 2: *An Alternative Modernity: The Rise and Fall of «Revolution»*.

4 Наиболее видные историки-«ревизионисты» — Давид Горовиц, Габриэл Колко и Галина Альперович.

тили в свое время некоторые авторы, в частности Раймонд Арон, в предшествующих геополитических конфликтах отсутствовали три составляющие холодной войны: ядерное оружие, идеологические разногласия и пересечение конфликта сильнейших держав с подъемом третьего мира<sup>5</sup>. О последней из составляющих я уже писал, потому в этой статье остановлюсь на этом лишь коротко, однако следует оговориться, что другие две уникальных черты холодной войны оказали огромное влияние на события в Азии, Африке, Латинской Америке и наоборот<sup>6</sup>.

Значение ядерного оружия и гонки ядерных вооружений самоочевидно: около 20 раз за четыре десятилетия холодной войны «сверхдержавы» (хотя я не люблю этот термин) шли на предупреждения о готовности использовать ядерное оружие. Почти всегда на этот шаг решалась та сила, которая обладала преимуществами в подобной ситуации: количественным и качественным превосходством. Такой силой были Соединенные Штаты<sup>7</sup>. Сейчас мы знаем, что по крайней мере во время Кубинского кризиса 1962 года мир был даже ближе к ядерной войне, чем тогда казалось. Ядерная угроза, конечно, сделала победу или, точнее, достижение военной цели менее привлекательной и менее очевидной стратегической задачей — отсюда и афоризм Раймонда Арона: «*Paix impossible, guerre improbable*» («Мир невозможен, война невероятна»). Хотя мы должны признать, что ядерное сдерживание работало и что для всех ответственных глав государств — поскольку они оставались ответственными — применить ядерное оружие было неприемлемо, однако было бы ошибкой заключать из этого, что оно не выполняло никакой функции. Критики, считающие ядерное оружие бессмысленным или безнравственным, или утверждающие, что цели перепроизводства и мнимой «модернизации» этого оружия — чисто экономические (теория военно-промышленного комплекса), серьезно заблуждаются. Ядерное оружие, помимо того что исполняет роль сдерживающего фактора, служит важнейшим политическим целям и подтверждает, хотя и в новом аспекте, слова Клаузевица, говорившего, что война есть продолжение политики, но другими средствами. Тому есть две причины. Во-первых, обладание ядерным оружием значительно повышает статус государства на международном уровне, обеспечивая ему почетное место за столом, а конкретнее — постоянное членство в «ядерном клубе», включая постоянное место в Совете Безопасности ООН и право вето. Франция и Великобритания должны были бы первыми признать это — если бы такие вещи когда-нибудь говорили вслух. Во-вторых, как

5 См. Aron R. *Peace and War*. — London: Weidenfeld and Nicolson, 1966.

6 См. мои работы: *Cold War, Third World*. — London, Radius/Hutchinson, 1989; *The Making of the Second Cold War; Third World Socialism: 1989 and After* // George Lawson, Chris Armbruster and Michael Cox (eds). *The Global 1989: Change and Continuity in World Politics*. — London: Routledge, 2010.

7 Я включил дискуссию об этих эпизодах в работу: *The Making of the Second Cold War*, ch. 3, взяв перечень их из: B. Blechman, S. Kaplan. *War Without War* (Washington, DC, Brookings Institution, 1978. — P. 48), но дополнив рассказом о ситуации в США в сентябре 1970 г., во время кризиса в Иордании и, очевидно, неизбежного сирийского вторжения в поддержку палестинских войск.

показал кубинский ракетный кризис и последовавшая за ним гонка вооружений, обладание «преимуществом» или превосходством в ядерном вооружении дает государству и преимущество в кризисных ситуациях, если и оно само, и его противники это превосходство осознают.

Поэтому история гонки вооружений — это не только история технологических новшеств и военного соперничества. Она должна рассматриваться и излагаться не столько с точки зрения военной и технологической (хотя и они имели значение), сколько как средство политической, идеологической и стратегической конкуренции двух блоков в Европе и в третьем мире. В самом деле, внимательное рассмотрение обнаруживает политическую логику, конкурентную и символичную, гонки ядерных вооружений. Когда бы это ни происходило — в конце 1940-х или начале 1950-х, во время Кубинского кризиса в начале 1960-х или одновременно с разрядкой в странах третьего мира и переговорами о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в конце 1980-х, — гонка вооружений никогда не была отделена от политического соперничества, не говоря уже о том, что она не была алогичной, определенной бюрократически и т. д. Напротив, приобретение и усиление ядерного потенциала были способом достичь широких государственных целей на международном и региональном уровне. Из этого следует, что американо-советские переговоры об «ограничении вооружений» были не столько разговорами об оружии, возможностях его уничтожения и контроля, сколько дипломатическим средством, получением дипломатического преимущества и предотвращением угроз. Будь то американская одержимость «господством» в начале 1970–1980-х годов или горбачевский вывод войск из Афганистана вместе с заключением договора о РСМД во второй половине десятилетия — вывод тот же. В начале 1950-х годов Америка так рвалась к ядерному превосходству из-за утраты Китая, в начале 1980-х — из-за успешных революций в странах третьего мира (Вьетнам, Иран, Афганистан, Эфиопия, Ангола, Мозамбик, Никарагуа и др.), которые подорвали разрядку.

Для современности из этого следует очевидный вывод: логику того, что происходит сегодня вокруг Ирана, следует искать именно в политике, а не в уныло-крючкотворной идее «нераспространения». Попытка Ирана стать по меньшей мере потенциально ядерной державой нельзя отделить от его претензий на влияние в регионе, прежде всего в Ираке. Скорее, эти два стремления неразделимы. Ядерные устремления Ирана обусловлены политически; они, в сущности, суть продолжение исламской революционной политики, это попытка добиться гегемонии в Западной Азии другими средствами.

## **РОЛЬ ИДЕОЛОГИИ**

Здесь мы можем возвратиться к теме идеологии, понимая под этим термином одновременно и политические убеждения, и менее очевидные, но во многом определяющие принципы индивидуальных сообществ.

Использование термина в этом значении позволяет нам охватить не только сами ценности, но и материал (политический, социальный, экономический) системы и, таким образом, интересы, воплощенные в отдельном общественном строе. «Капитализм» и «коммунизм» были «идеологиями» в обоих смыслах: и как набор идей и стремлений, и как обозначение определенной политики и социального строя, даже если их сторонники — как это бывает со всеми идеологиями — пытались усилить их, представляя естественными и неизбежными. Но, несмотря на эти преувеличения и искажения, холодная война воплощала и выражала длительное мировое идеологическое соперничество, ведшееся не только за господство, но и за модель устройства современного общества и политики. Идеология, понимаемая и как убеждения, и как представление об организации общества, и вызвала всемирное противостояние<sup>8</sup>.

Таким образом, спор о роли идеологии в холодной войне — это спор не только о намерениях политических лидеров, но и о всемирном противостоянии обществ, а также экономических, социальных и политических моделей как идеологических проектов. Нет необходимости писать здесь о мощной экономической и социальной притягательности коммунизма в 1930–1960-е гг., которая обеспечила ему мощную поддержку в Западной Европе и странах третьего мира. С другой стороны, западные политики, возможно, были слишком заняты требованиями момента и продиктованными ими дипломатическими и военными договоренностями. Самим своим существованием и тем фактом, что они не рушатся, капиталистические государства поколебали уверенность государств коммунистических в том, что в конце концов победа так или иначе останется за ними, несмотря на историческое отставание и заблуждения, в которых они сами признавались. НАТО и ЦРУ не могли планировать того влияния, которое они оказали на коммунистические государства Восточной Европы. Исследователи и критики слишком акцентируют внимание на том, что *думали* те, кто «планировал». Изменения в обществе и распространение информации из официальных и неофициальных источников сыграли огромную роль: «демонстрационный эффект» западного капитализма нанес серьезный удар по самоуверенности Востока. Отсюда и лозунг восточных немцев, разрушивших Берлинскую стену в ноябре 1989 г.: «*Wir wollen Kiwis und Nektarinen!*» («Мы хотим киви и нектаринов!»)

И коммунистические, и западные страны многое преувеличивали, и это послужило причиной для споров об истинной природе конфликта среди людей более либеральных, левых и в целом критически настроенных. Они

8 Одна из крупнейших ошибок в оценке коммунизма связана с тем, что многие его сторонники, верившие в него, впоследствии заявляли, что были лишь принуждены поддерживать его. См. данный весьма перспективный обзор литературы о сталинской России: Jochen Hellbeck. *The Ice Forge // The Nation*. — 3 March 2008. Беспристрастные реконструкции истории, аргументов и глобального влияния коммунизма см. Brown Archie. *The Rise and Fall of Communism*. — London: Bodley Head, 2009; Service Robert. *Comrades: A World History of Communism*. — London: Macmillan, 2007.

пришли к выводу, что идеологическое измерение холодной войны было либо вовсе неважно, либо представляло из себя лишь средство, при помощи которого элиты обеих сторон держали свои системы под контролем. По большей части эта критическая, или «ревизионистская», литература, которую я в другом месте назвал «интернализмом», утверждает, что для холодной войны было много других причин, помимо идеологического противостояния двух социальных и политических систем. Среди представителей этого подхода: Ноам Хомский с его ясной, но натянутой идеей выгоды холодной войны для обеих сторон, — он однажды назвал ее «теорией двух темниц»; Мэри Кэлдор с ее «воображаемой войной»; американский историк Уолтер Ла Фебер, который рассматривает холодную войну как многомерный конфликт: соперничество США и Европы, конфликт Севера и Юга, противостояния внутри США, историческое соперничество между Россией и США, — а не как борьбу между западным капитализмом и советским коммунизмом. Другие ревизионисты, вроде Рональда Стила, развивали идею о том, что США были заинтересованы в холодной войне и потому не хотели положить ей конец<sup>9</sup>.

Роль идеологии в холодной войне, как видим, толкуют с — до смешного — противоположных позиций, в зависимости от политических воззрений автора. Правые видят это, так или иначе, таким образом: холодная война — это время постоянного баланса сил в межгосударственном конфликте, в значительной степени основанном на противостоянии двух идеологий, двух систем ценностей — коммунистической и капиталистической (самопровозглашенные «страны свободного мира»), — каждая из которых стремилась к мировому господству. Авторы левого толка и ревизионисты склонны относиться к этому скептически.

## ПРЕДЕЛЫ ИНТЕРНАЛИЗМА

Как было сказано выше, моя собственная работа отчасти развивалась в постоянной связке с тем направлением, которое я называю «интерналистской» школой<sup>10</sup> — т. е. признающей внутренние факторы и интересы, но в то же время настаивающей и на продолжительном влиянии и «автономии» факторов международных. «Интерналистская» школа имеет интересную родословную. С одной стороны, есть много причин рекомендовать ее. Свои притязания на всемирную легитимность обе стороны преувеличивали: угроза ядерной войны заставила их пойти на взаимные стратегические

9 См. мою работу: *Rethinking International Relations*, ch. 8.

10 В своей книге *The Making of the Second Cold War* я стремился ясно выразить, что и в многомерном, и в многоаспектном плане холодной войны гонка ядерных вооружений занимает важное, но не главное место. Другая претензия направлена против гегемонии новых историков (таких, как Джон Льюис Гэддис), которые говорят, что новые открытые архивы позволят в более определенном ключе разрешить спор о холодной войне — хотя мы обладаем обширными архивными материалами в случае, скажем, с началом Первой и Второй мировых войн и происхождением европейского империализма, однако споры о теориях и интерпретациях продолжают и поныне.

уступки, из соперничества сторон стали извлекать выгоду силы внутри них: например, производители вооружения всех видов, а также охранители всяческого превосходства — в том числе классового, возрастного, полового и расового<sup>11</sup>. Это верно, но все же не значит, что никаких крупных геополитических и идеологических конфликтов не происходило. Здесь критика идеологии, отрицающая ее автономное и последовательное влияние, становится преградой для анализа. Почему? Одна причина для неверного толкования очевидна: критика дискурсов власти в контексте холодной войны, желание приуменьшить существующую конфронтацию, разоблачив ее обоснования, а также, что очень важно, желание вовсе выйти из сковывающей темы политического противостояния. С тех пор как и западные правые, и догматики из брежневского руководства освоили язык конфронтации, те, кто выступал против и тех и этих (как, например, европейское «движение за мир»), отказываются от этого аргумента. Поэтому в большей части либеральной и другой инакомыслящей литературы холодная война предстает или делом рук милитаристских элит внутри любого общества — к примеру, «военно-промышленного комплекса», или некоего неопределенного «милитаризма» (удивительно объемный термин, у которого, как указал Майкл Мэнн, несколько значений), — или результатом не действительного конфликта интересов, а «взаимонепонимания» между двумя сторонами. Объяснения с точки зрения настоящего конфликта интересов, или по крайней мере частично сформированные идеологией, объявляются недействительными, а то и прямо расцениваются как попытки оправдать холодную войну как таковую.

Существует, однако, более глубокий блок вопросов, который, возможно, наиболее очевидно представлен в книге одного из основоположников «интерналистской» позиции Чарльза Райта Миллса «Причины третьей мировой войны». В опубликованной в 1957 году работе он утверждал, что холодную войну развязали военно-промышленные комплексы Востока и Запада и что рано или поздно из-за несчастного случая или просчета, напряженность, созданная обоими блоками, приведет к катастрофе. Здесь мы можем видеть в первоначальном виде многие доводы, которые потом появятся в более поздних работах «интерналистской» школы. Не в последнюю очередь это очевидно из представления о полной бюрократически-военной симметрии обоих блоков и их ведущих государств<sup>12</sup> и из анализа международных отношений не как независимой сферы политического, экономического и воен-

11 Гендерная сфера в истории холодной войны заслуживает, конечно, гораздо более подробного изучения. Не только роль соперничающих образов «современной» женщины, предложенных Востоком и Западом, но и противопоставление, послужившее основой для экстраординарных «кухонных дебатов» Никсона и Хрущева на кухне американской выставки в Москве в 1959 г.

12 Отразившейся, конечно, в широко распространенных постстрокистских взглядах, согласно которым СССР, на самом деле, лишь другой вариант капитализма — «государственный капитализм», а следовательно, конфликт с Западом безоснователен. Это было что-то, что должно было быть немного неожиданно для всех, кто жил в этом обществе.

ного соперничества, но как продукта *внутреннего (internal)* социально-экономического развития, нарастания милитаризма, или того, что Э. П. Томпсон позже назвал «экстерминизм» (*тяга к уничтожению, от «exterminate» – «уничтожать, истреблять».* – Примеч. пер.), который должен привести к войне – «третьей мировой войне» Миллса<sup>13</sup>.

В работе Миллса отражена и другая тема, центральная для «интерналистского» подхода – это взгляд на государство как развращенное изнутри международной зависимостью и соперничеством; у Миллса это восходит к взглядам его теоретического предшественника – Макса Вебера. Вебер, с его картиной современности как «железной клетки», был социальным теоретиком, который, возможно, больше всех других соединял пессимизм и принятие внутреннего конфликта в международной сфере с анализом современного капиталистического общества и чье положение о бюрократическом государстве могло без подтасовок одинаково применяться и к западной, и к коммунистической системе (отсюда и симпатии либералов к «конвергенции»).

В случае Миллса и других американских авторов, однако, есть и другая тема, центральная для этого вопроса: вера в то, что внешние затруднения, особенно с 1945 года, развратили «полис». Здесь мы видим отзвуки идей, высказанных Руссо и, еще ранее, Платоном, согласно которым политическая добродетель заключается в минимальном, насколько это возможно, контакте со всем внешним, иностранным<sup>14</sup>. Большая часть либеральной американской критики времен холодной войны утверждает, что холодная война была не нужна и вредна для Америки, служа тем или иным образом усилению развращающей власти центра. В Европе та же позиция привела к аналогичной дискуссии (что видно из противостояния ЕС и Всемирной торговой организации, ВТО), – там утверждали, что интернационализация политики и экономики делает невозможными радикальные изменения и ограничивает возможности каждого отдельного государства. Тем не менее существует не меньше оснований утверждать и обратное, а именно: международное давление и эффект демонстрации способствовали скорее развитию, чем ограничению, демократии и личных свобод. В случае Европы XX века – наши либеральные инстинкты слишком болезненны, чтобы признать это. – Первая и Вторая мировые войны служили быстрому росту процесса демократизации, будь то распространение избирательного права

13 См. Thompson E. et al. *Exterminism and Cold War.* – London: Verso, 1983. Чарльз Миллз Райт был известным левым американским социологом, который преподавал в Колумбийском университете и умер в 1962 г. в возрасте 43 лет. Его наиболее известная книга – *The Power Elite.* – New York: Oxford University Press, 1956. Он также был одним из первых сторонников Кубинской революции, причину которой изложил во время посещения Лондонской фондовой биржи в 1960 г. Там он встретил политолога и социолога Ральфа Милибэнда, который, выказывая почтение своему американскому коллеге, позже дал имя Райт в качестве второго имени своему первому сыну, Дэвиду, будущему министру иностранных дел Великобритании.

14 Мы можем вспомнить в «Законах» Платона рекомендацию не выпускать за границу никого младше 40 лет, да и потом лишь только для того, чтобы собрать информацию о соседних странах.

в Великобритании в 1928 г. или предоставление права голосовать женщинам во Франции в 1948 г.; то, что Швейцария долгое время воздерживалась от подобных изменений<sup>15</sup> можно во многом объяснить ее неучастием в международных конфликтах. Сильным доводом в пользу этого утверждения служит то, что вхождение в ЕС сделало общества стран, ставших его членами, более справедливыми и открытыми.

Несколько провокативным образом можно даже вернуть этот аргумент США: для всего разговора о «государстве национальной безопасности» и т. д., период холодной войны во многих важных аспектах сопровождался существенным ростом демократии и политической свободы в США, а не его ограничением. Против периода Маккарти начала 1950-х — отвратительный, но довольно малозначительный эпизод в хронике репрессий XX века — должны быть поставлены достижения движения за гражданские права начала 1960-х, когда предоставили избирательные права миллионам людей, а также подъем многих массовых социальных движений, которые оказали огромное влияние на американское общество и на развитый мир в целом. Последствия этих серьезных политических изменений можно увидеть из того, что в ноябре 2008 г. президентом стал Барак Обама. Они глубоко связаны с холодной войной, поскольку американские лидеры, такие как Эйзенхауэр и Кеннеди, прекрасно сознавали международные последствия дискриминации и расизма<sup>16</sup>. Это прогрессивное и радикальное движение в США выросло в противостоянии догмам и традициям холодной войны и имело важные международные последствия. Ирония ситуации в Европе после Второй мировой войны (т. е. во время четырех десятилетий холодной войны) заключалась в том, что фактически все радикальные идеи пришли не из советского блока или из стран третьего мира, а из США: от правовых, антивоенных и студенческих движений 1960-х до движений за права женщин и гомосексуалистов и кампаний за свободу распространения информации.

Есть несколько соображений, которые могут пролить свет на этот аргумент интерналистов. Во-первых, попросту неверно утверждать, что конфликт идеологий в холодной войне — просто обман. Как уже было отмечено, часто забывают, а сейчас обе стороны даже радостно отрицают, что на Востоке было много людей, которые верили в коммунизм и в то, что он распространится на весь мир. По крайней мере, до 1970-х гг. значительная часть элиты СССР и других коммунистических стран верила в необходимость соединения националистических и идеологических соображений для «строительства социализма» и в конечном счете победы над капиталистическим конкурентом. Не так мало людей, особенно в ГДР, которые воспринимали стену, построенную в 1961 году, как средство отгородиться от успеш-

15 Только в 1971 г. все кантоны Швейцарии гарантировали избирательное право женщинам.

16 См. Dudziak Mary. *Cold War Civil Rights: Race and the Image of American Democracy*. — Princeton: Princeton University Press, 2000; Borstellman Thomas. *The Cold War and the American Color Lines: American Race Relations in the Global Arena*. — Harvard, MA, Harvard University Press, 2002.

но строящего социализм Востока. В России успехи в военных технологиях и победы в странах третьего мира середины и конца 1970-х стимулировали поддерживали иллюзии о ее мировой роли и долговременных неизменных тенденциях в «соотношении сил», которые должны были в результате привести к ее победе. Во Вьетнаме США получили серьезный урок: поражение от огромного количества людей, которые верили в альтернативу южному капиталистическому режиму, базировавшемуся в Сайгоне, и были готовы бороться и умереть. Именно за это боролось порядка двух миллионов человек. Причина окончания холодной войны кроется не в военном поражении или в массовом восстании снизу, но в кризисе веры в идеологию — кризисе настолько серьезном, что даже лидеры Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) оставили идею «выстроить» альтернативный порядок. Однако осознание этого факта пришло только после 1985 года и после провала первой фазы перестройки в 1987–1988 годах. С другой стороны, западные либеральные авторы с легкостью утверждают, что никто на самом деле не верил в капитализм, — но и это явно не так, даже если политические деятели старались не использовать это слово.

## РАЗНОРОДНОСТЬ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

За этими специфически историческими вопросами, связанными с холодной войной, лежит более общая социологическая тема: играют ли различия во внутренней общественно-политической организации государств роль во внешней политике и, если да, то как именно. Как ни странно, теория международных отношений, в ее обычной геостратегической или «реалистической» форме, отрицает это. Хотя теоретически «реализм» нейтрален в отношениях между социальными системами и решительно отрицает актуальность внутренних факторов для внешней политики, «реализм» как идеология войны есть красноречивый пример «натурализации» — того, что узаконивает практику именно тем, что отрицает ее исторический контекст и выдавая ее за универсальную. Однако другая традиция в социальной теории утверждает, что помимо столкновений за власть или территорию, противоречия во внутренней структуре (т. е. воплощение идеологии в социальных и политических формах) действительно имеют значение и могут вызывать конфликты даже более тяжелые, нежели обыкновенные стратегические. В отличие от геостратегического или «реалистического» подходов, которые сосредотачиваются на изменениях в балансе власти, эта альтернативная точка зрения предполагает, что конфликт будет продолжаться, пока одна сторона не возобладает над другой: конфликт не может быть улажен оружием или территориальными изменениями, а только исчезновением фундаментальной идеологической разнородности в международных отношениях<sup>17</sup>.

17 См. Halliday. *Rethinking International Relations*. Ch. 5. International Society as Heterogeneity, and ch. 8.

В отличие от господствующей ныне теории международных отношений, большая часть ранней социологии опирается на предположение, что международные отношения приводят к внутренней однородности государств; это положение развивалось от Конта и Сен-Симона через Маркса к Фукуяме. Одна из самых убедительных формулировок была предложена неожиданно Эдмундом Берком, мыслителем недооцененным, которого часто считают обычным консервативным демагогом — не в последнюю очередь потому, что его рассматривают вне его ирландского контекста и забывают о его принципиальной поддержке американской Революции. Классическое положение взглядов Берка можно найти в его «Письмах о мире с царевубийцами» (*Letters on a Regicide Peace*), написанными в 1796–1797 годах против тех, кто хотел договориться о компромиссе с революционной Францией. Берк утверждал, что не может существовать мира между двумя противоположными системами ценностей и что самое существование Франции, организованной на радикально новой основе, будет угрозой традиционным монархиям Европы. Его вывод, столь же понятный революционеру, сколь и консерватору, был недвусмыслен: «Я думаю, мы никогда не сможем примириться с этой системой, поскольку не ради достижения какой-либо цели мы продолжаем вражду между собой, но потому, что наши системы враждебны друг другу. В моем понимании этого вопроса, мы ведем войну не с их поведением, а с их существованием: для нас их существование и их враждебность — одно и то же»<sup>18</sup>.

Отсюда Берк делает вывод, что война, лучше даже превентивная война, против революционных государств оправдана. Но такой подход может объяснить и логику политики США в послевоенный период — политика сдерживания. В этом смысле классическую формулировку внешней политики США в «Длинной телеграмме» дипломата Джорджа Кеннана, посланной в феврале 1946 года и перепечатанной в его анонимной статье «Источники советского поведения»<sup>19</sup>, заслуживает того, чтобы ее внимательно перечитали сегодня. Телеграмма Кеннона призывает к военным действиям, но только затем, чтобы остановить продвижение СССР дальше — в Европу, или куда бы то ни было еще на Запад. Кеннона мало заботят страны третьего мира, и даже Китай: если эти страны хотят стать коммунистическими, то это их проблемы, а не угроза США. Его главный аргумент — тот же, что и у Берка: Запад должен, перед лицом притязаний коммунизма представлять образ будущего, избежать того, на что марксистско-ленинская идеология возлагала свои надежды — «решительного краха» капитализма; он должен построить свои политическую и экономическую системы так, чтобы разрушить миф о неизбежном крушении капитализма и успешно конкурировать с советской системой. В далекой перспективе, утверждал Кеннан, идеологическая уверенность в своих силах другой стороны будет сломлена и они усту-

18 Burke E. *The Works and Correspondence of Edmund Burke*. — London: Francis and Rivington, 1852. — Vol. 5 — P. 320–1, цит. по: Halliday. *Rethinking International Relations*. P. 110 (курсив мой); pp. 109–12, где приведен анализ основных идей Берка.

19 См. *Foreign Affairs*. — July 1947, signed 'X'.

пят. Так более или менее и произошло. Холодная война была борьбой идеологий, но идеологий, воплощенных в социальных и политических системах. Она закончилась, как и ожидали Берк и Кеннан, победой одной из сторон.

## КРАХ КОММУНИЗМА

Крах коммунизма в 1989–1991 годах был полной неожиданностью для всех сторон. Разница между «холодной» и «горячей» войной состоит, среди многого прочего, в том, что все ждут, что «горячая война» закончится, — в то время как почти все думали, что холодная война может и будет длиться бессрочно. Когда же ей пришел конец, он был скорым, определенным и, в важнейших странах, относительно бескровным. Хотя основная слабость коммунистической системы была внутренней: политическая и экономическая модель была обречена на провал, — это не объясняет, почему и как именно коммунизм рухнул. Это событие потребовало международной оценки. Обычные объяснения с точки зрения геополитики выдвигают на первый план некоторые изменения конца 1980-х годов, но гонка вооружений и конфликты в третьем мире, достигшие апогея в Афганистане, — две причины, к которым они обращаются чаще всего, — могут объяснить некоторое давление на коммунистическую систему, но не ее крах. Здесь мы должны рассмотреть еще одно измерение конфликта, которое упускают рассуждающие о ядерном оружии и конфликтах в третьем мире — социальную историю холодной войны. Социальная история массовых движений, которые возникают с конца Второй Мировой войны в Европе и Восточной Азии, а также спонтанные политические движения, которые приняли участие в переменах 1989–1991 годов. Я настаиваю, что именно в поле широко понимаемой социальной истории — включая идеологические изменения, распространение образования, сдвиг в общественном сознании, смена элит, сильное, подчас даже резкое увеличение познаний о внешнем мире, а также рост напряжения в отношениях между государством и обществом — следует искать объяснение концу холодной войны<sup>20</sup>.

Холодная война закончилась, и коммунистическая система в Восточной Европе и СССР рухнула по трем причинам, связанным лишь случайным образом: во-первых, потому, что народы коммунистических стран стремились приобщиться к западной модели, о которой они узнавали все больше; во-вторых, потому, что правящие элиты на Востоке и, наиболее заметно, верхушка СССР потеряли решимость поддерживать свою систему идеологической мобилизацией или танками; и, в-третьих, потому, что некоторые западные лидеры, особенно германский канцлер Гельмут Коль, увидели свой шанс и в течение несколько месяцев до и после разрушения Берлинской стены в ноябре 1989 года сделали заключительный толчок. Большинство геополитиков имеют «трансатлантический» уклон в пользу США и преуменьшают роль в этом процессе Европейского экономического сообщества, и не в последнюю

20 См. Bisley Nicholas. *The End of the Cold War and the Causes of Soviet Collapse*. — Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004.

очередь немецкого процветания. Коля — прирожденный политик с сильным чувством истории — увидел представившуюся возможность и поставил Германскую Демократическую Республику (ГДР, Восточная Германия) на колени за несколько месяцев: однако это стало возможным только потому что для этого вызрели социальные условия<sup>21</sup>. Быстрый и решительный успех Коля объясняется не только уступками Советов, но и тем внутренним кризисом Восточной Германии, который вызвали успехи Западной<sup>22</sup>.

Потеря веры в коммунизм обществом и элитой была в конечном счете неизбежна, как был неизбежен конец рабства или европейских империй, но последствия этой потери и формы, которые она принимала, непредсказуемым образом зависели от другого фактора: персональных качеств главных фигур с советской стороны и, в первую очередь, самого Горбачева. Изменение их намерений и запущенные ими реформы, которые за шесть лет разрушили всю систему, показывают их осознание того, насколько СССР отстал от Запада в военных и экономических аспектах в ходе той самой межсистемной конкуренции, которую сам определил. Признание Горбачевым потребности в изменениях, а затем осознание невозможности реформирования системы, должно составлять одну из центральных тем всей этой истории. Картиннее всего это проявилось в том, как он своими указами пытался заставить восточноевропейских лидеров измениться, а затем ясно дал им понять, что советские танки больше спасать их не будут, — что, собственно, и стало предварительным условием изменений 1989 года. На Коля осознание того, что Горбачев не будет больше применять силу, произвело сильное впечатление, но это было лишь внешним проявлением гораздо более широкой духовной эволюции. Запад выиграл холодную войну не геополитическим или военным сдерживанием. И не рейгановской гонкой вооружений и не доктриной Рейгана. Конец холодной войны пришел, когда перед лицом внешних давлений — стратегических, экономических и социальных — советское руководство увидело потребность в изменениях, причем таких, что их итог оказался ему неподвластен.

## ЧЕМ БЫЛ КОММУНИЗМ?

Оглядываясь назад и учитывая особенности холодной войны как международного соперничества, мы можем, и должны спросить, чем же был коммунизм; на сопротивление какой политической и социальной системе Запад

21 Суждения и расчеты немецких лидеров в то время и их понимание того, что они ломаются в открытую дверь, хорошо отражены в дневниках советника по делам безопасности Коля — Horst Teltschik, *329 Tage*, Berlin, Siedler Verlag, 1991.

22 Советский «зеленый свет» был важен для тех стран, которые контролировала Москва, — Польши, Венгрии, ГДР, Чехословакии, Болгарии и, в Азии, Монголии. Там, где Москва не могла контролировать события, результаты были более кровавыми: Румыния, Югославия и Албания. Блестящее сравнительное исследование см.: Lawson George, *Negotiated Revolutions: The Czech Republic, South Africa and Chile*. — London: Ashgate, 2007.

потратил семь десятилетий. Вопрос, какой политической и социальной системой был коммунизм, еще слишком близок к нам, чтобы рассматривать его в должной перспективе. В ходу несколько разных ответов на него; вот они вкратце:

- диктаторские тенденции, на основе которых революционные элиты захватили контроль над обществом;
- искажения борьбы рабочего класса за свою свободу;
- проявления мессианизма,
- последствия восточного деспотизма,
- неудавшаяся попытка ускоренного развития.

Наиболее приемлемым было бы объяснение, включающее элементы всех этих формул. Мы не должны забывать, что эта попытка уйти от обычного пути капиталистического развития была какое-то время весьма успешна и поставила Запад перед лицом серьезных идеологических и военных проблем; тем не менее в конце концов коммунисты были вынуждены сдаться почти без всякого сопротивления. Как ничто иное, крах коммунизма заслуживает тщательного изучения: это, безусловно, один из «уроков» коммунизма тем, кто верит, что социальное и экономическое развитие определяется элитой или диктуется государством.

Существует, однако, и другой, не менее важный аспект коммунизма, который на Западе просмотрели за ликованиями после 1989 года: коммунизм, как и либерализм, был продуктом модерна, — интеллектуальных и социальных изменений, вызванных «индустриальной революцией» и связанных с нею несправедливостей и жестокостей. Это был результат «индустриальной революции», чью раннюю стадию столь ярко описал в 1844 году Энгельс на примере Манчестера, результат чередований бума и спада, которые достигли апогея в депрессии 1930-х годов, результат жестокостей колониальных захватов, эксплуатации и войны. Коммунизм был не просто утопическим проектом, он был также внушительным ответом на неравенство и конфликты, порожденные капиталистическим модерном. Некоторые из этих несправедливостей и конфликтов существуют и сегодня, откуда можно заключить, что результатом их будут новые вызовы, природа которых все еще остается смутной. Именно таков, на самом деле, несмотря на все воплотившиеся в нем заблуждения и жестокости, радикальный исламизм.

Хотя сейчас очевидно, что крах коммунизма был неизбежен, так не казалось многие десятилетия коммунистического эксперимента: и те, кто поддерживали его, и те, кто его боялись, верили в эффективность вмешательства социалистического государства, и только последующие события эту веру развенчали. В 1930-х годах даже многие из тех, кто противостоял коммунизму, приписывали ему советскому плановому хозяйству и индустриализации потрясающие успехи. В сущности, нигде вера в мощь коммунизма не была более очевидной, чем среди тех государств, которые ему противостояли. Перед лицом большевистской революции и ее наследников капита-

листический мир был вынужден модернизировать свои собственные политическую и экономическую системы как в метрополиях, так и в колониях. Важнейшим достижением коммунизма можно назвать даже не рождение альтернативной капитализму и более притягательной системы, но его вклад в модернизацию самого капитализма: распространение избирательных прав, рост «государства всеобщего благоденствия», конец колониализма, экономические бумы Европы и Восточной Азии после 1945 года — всего этого не случилось бы без той каталитической роли, которую — вместе с внутренним давлением — сыграл коммунизм своим внешним воздействием.

## НАСЛЕДИЕ КОММУНИЗМА

Коммунизм, может быть, и мертв, но он все еще не похоронен. Похоронить его можно, только осознав, что он из себя представлял и почему миллионы людей верили в этот идеал и сражались за него и против чего они боролись. Это можно сделать только тогда, когда наследие этой идеологии и движения будет оценено, а не просто забыто. Коммунизм воплотил те черты современной политики, от которых нельзя отказываться: веру в массовое участие населения в политике, абсолютное разделение религии и государства, поощрение общественной, политической и экономической роли женщин, ненависть к межэтническим конфликтам и необходимость вмешательства государства в экономическую и социальную жизнь людей. Быть может, Сталин и Госплан дискредитировали некоторую конкретную форму «планирования», но в целом стремление приложить рациональную научную, организаторскую и политическую мысль к людским делам с целью сделать будущее лучше есть стремление абсолютно законное и необходимое, тем более в век истощения ресурсов и опасности экологического кризиса. Интерпретация, данная этим ценностям, была авторитарной, кровавой и, во многих случаях, преступной. Тем не менее, эти цели, понимаемые демократически и гуманно, стали неотъемлемой частью современной политики. С другой стороны, мы должны без обиняков рассмотреть крах коммунизма и не забывать о том, о чем забывают во многих ретроспективных исследованиях: этот провал — не случайность, а необходимость. Система, отвергшая политическую демократию и базировавшаяся на контролируемой экономике, не просто случайно рухнула из-за неудачной политики здесь или там, и уж тем более не из-за отхода от классической марксистской теории. Она была обречена изначально.

Нельзя оценить холодную войну и центральное место, которое в ней занимали идеи, унаследованные из социалистической и марксистской традиции, — в сущности, радикальные идеи Французской революции, — не осознав, что результат холодной войны означает для самого проекта социализма. Защитники марксизма в современном мире сплошь и рядом заявляют, что марксистская теория и практика коммунизма — вещи разные, а потому теория не несет ответственности за дела коммунизма. Но мог ли другой марксизм — более либеральный, или «подлинный», или «демократический»

или, если угодно, наоборот, — более решительный, воинственный, дисциплинированный, — предотвратить крах коммунистических государств? — Нет. Конечно, на протяжении 70-летней истории были моменты, когда советская система могла пойти по иному пути. Новую экономическую политику (нэп) можно было продолжать и после 1928 года. Могло бы все пойти иначе и в середине 1930-х, если бы убит был Сталин, а не Киров, или если бы вождем партии стал Бухарин. Если бы Хрущева не сместили в 1964 году, экономическая реформа, схожая с той, которую Горбачев попытался осуществить в 1985-м, могла бы начаться на 20 лет раньше — и т.д. Даже в самом конце советская система могла бы, конечно, продержаться еще поколение, если бы к власти в марте 1985 года вместо Горбачева пришел лидер из консервативного крыла КПСС вроде Романова или Гришина. Но в конечном итоге ни господствующая идеология коммунистической партии, ни, по-моему, любой из вариантов марксизма, хотя бы отдаленно связанный с 1917 годом, не смог бы спасти этот режим, тем более — позволить ему развиваться. Он зашел в тупик; рано или поздно, так или иначе, но он неизбежно оказался бы в безвыходном положении.

## КОНЦЕПЦИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО СОЦИАЛИЗМА

Революционное социалистическое движение было одновременно и всемирным движением коллективного целенаправленного действия, охватившим все континенты, и продуктом внутренних структурных противоречий развития капитализма, накопившихся за предыдущие два столетия. Бессмысленно начинать критику этого явления, рассматривая его как нечто, чего, в его положительных и отрицательных чертах, можно было избежать, или, как того требует ортодоксальный неолибериализм, как своего рода ошибку истории. Да, у него были свои заблуждения, — как есть они и у капиталистической идеологии, утверждающей, что каждый может стать миллионером. Таковы же новомодные фантазии о «здоровом образе жизни» — что якобы процесс старения можно остановить или повернуть вспять; или иррациональная вера в божественные сущности и загробную жизнь, которой большая часть человечества все еще придерживается, и, во многих обществах Востока и Запада, пытается распространить на окружающих. Как и эти фантазии, социализм был результатом преобладающей интеллектуальной культуры — как и другие порождения капиталистического модерна, будь то демократизация и научный прогресс, авторитарный капитализм, война между государствами или колониализм. Иными словами, в своих иллюзиях и заблуждениях революционное социалистическое движение было в полной мере детищем своего времени, и среди химер, окружавших его, не последнее место занимали вера в неотвратимость прогресса и в научную обоснованность оценки и действий человека. В марксистской традиции существовали и, до некоторой степени, до сих пор существуют элементы, обусловившие не столько революции, сколько именно кровавую и преступную историю этих режимов. Марксистские элементы сказались особенно в четырех цен-

тральных аспектах коммунистической программы: концепции авторитарного государства, механистической идее прогресса, мифе о «Революции»<sup>23</sup> и инструментальном характере этики. Эти иллюзии XIX века восходили прежде всего к наследию Французской революции.

Первой и основной идеей как для революционного марксизма, так и для радикальной политики исламского мира является антидемократическая, якобинская, теория политики и «Государства»; именно она, а не борьба масс (или рабочих, или угнетенных мусульман) за свою свободу, является главным понятием, даже главной целью всех современных революционных политических движений — как светских, так и религиозных, от Ленина до Осамы бен Ладена. Второй, и также основной, для революционной мысли современности является надисторическая идея Прогресса. Конечно, в пользу идеи Прогресса как таковой можно сказать многое: прогресс, например, в медицинской науке, материальном богатстве человечества или в развитии капиталистической демократии, действительно наблюдается. Это, однако, не означает, что существует «тэлос» (*греч.* «цель», «предназначение») истории, как это представлялось в XIX веке, тем более — что движение к этому «тэлосу» обуславливает или узаконивает политические действия, а во многих случаях и убийства людей за их «реакционность»<sup>24</sup>.

Тесно связан с мифом о «прогрессе» третий опасный миф — о Революции, — не представление о революции как историческом моменте перехода или о подготовке перехода от одной эпохи к другой, но «Революция» с большой буквы, как исторический миф, катаклизм одновременно неизбежный и необходимый для освобождения. Частью переосмысления социалистической традиции должна стать именно переоценка этого мифа, одного из наиболее могущественных и, без сомнения, столь же разрушительного, сколь и миф о «нации», — и осознание различий между тем, что можно назвать «актуально существующими революциями», и более широким идеологическим мифом. Этот последний миф, включающий идею о «необратимости» социалистической революции, разбился в 1989–1991 годы. Связанная с этим идея о возможности революции (в мифическом смысле) внутри развитого капиталистического общества была опровергнута давно — возможно, провалом Немецкой революции в начале 1920-х, а, по-моему, еще неудачей революции 1848 года. С другой стороны, реальность революций как исторических моментов — неизбежных и волюнтаристских, освободительных и закабаляющих — является центральной для истории современного мира. Революции не только преобразовывали те страны, в которых происходили, но они заставляли господствующие классы в контрреволюционных государствах меняться, — а значит, изменяли и сам капитализм.

Четвертый компонент этого наследия — отсутствие самозаконного этического измерения; именно оно служит основой трех вышеназванных идей —

23 См. мою работу: *Revolution and World Politics*, ch. 12.

24 См. Nisbet Robert. *History of the Idea of Progress: An Enquiry into its Origins and Growth.* — New York: Basic Books, 1981.

Государства, Прогресса и Революции. Конечно, нечто вроде этики существовало: все сделанное ради прогресса, каковой в общем сводился к получению власти партийным руководством и усилению — идеализированного — рабочего класса, оправдывалось. Однако главной ошибкой двухсотлетней истории социализма, особенно в его большевистской форме, было отсутствие этического измерения в отношении к правам отдельного человека и граждан в целом, — т. е., по сути, всех, кто не был частью революционной элиты; а также отсутствие ясно сформулированных и обоснованных критериев, по которым можно было бы судить о законности и незаконности применения насилия или государственного принуждения. Если мы возьмем три основных формы конфликтов и коллективных действий, в которых участвуют люди — война, национализм, революция — мы можем увидеть, что первая теоретически основывается на этической позиции: в каких случаях законно начать войну — *jus ad bellum*, и с какой степенью жестокости ее законно вести — *jus in bello*. Для национализма и особенно для революции такие этические соображения не существуют: нет аргументов, апеллирующих к моральным основам, отличным от борьбы за власть. Никто не пытается заявить, хотя стоило бы, что национальная независимость не стоит насилия и гибели людей. Самый этот дискурс невозможен: вопрос только в том, осуществимо это или нет. Законность националистических и революционных движений провозглашается ими самими. Национализм не признает, что его собственные требования подсудны каким-либо более высоким этическим законам. То же и с революцией: не существует *jus ad revolutionem* или *jus in revolutione*. Коммунизм был «моралистическим» в том смысле, что разработал моральное обоснование для себя и моральную критику своих врагов, но все это было лишь средством: именно отсутствие автономной (т. е. не предназначенной для получения и удержания власти) этической сферы давало коммунистической традиции возможность действовать так, как она это делала.

## ЗА ПРЕДЕЛАМИ МАРКСИЗМА И АНТИМАРКСИЗМА

Дискурсивное переосмысление холодной войны и коммунизма ведет, таким образом, к обсуждению следующей темы этой лекции: необходимости переосмотра более широкого спектра радикальных идей. Здесь я хотел бы привлечь внимание к необходимости изучить домарксистские и марксистские радикальные движения, поскольку современная политическая мысль освобождается от марксистских и антимарксистских призм и запретов, а потому, как я убежден, возрождаются другие радикальные и критические традиции. Что бы еще марксизм ни потерял в конце XX века — он во всяком случае должен утратить свою самонадеянность, свои притязания на уникальное понимание истории *vis-à-vis* с другими современными школами критической и демократической мысли, или претензии на то, что он, так или иначе, в какой-то момент — в 1847, или в 1857, или в 1871 году — раз и навсегда порвал со своими «донаучными» предшественниками. Самоуверенность «эписте-

мологического разрыва» Альтюссера должна была закончиться. Марксизм, так же как и другие политические идеологии (включая либерализм), — продукт Просвещения, и он входит в широкую традицию, за которой будущее критической и свободной мысли. Марксисты слишком легко отвернулись от своих истоков и других освободительных и критических течений — достаточно только взглянуть на многолетнюю вражду к «буржуазному» феминизму, которая стала слабеть только к 1970-м. Также следует рассмотреть отказ социалистов принять во внимание то, что «буржуазная» социология говорила о бюрократизации и коррумпировании власти в авторитарных системах, — притом что именно это и происходило в тех самых странах, которые, как предполагалось, были заняты переходом к более высокому политическому и общественному строю. Столь же слепым был и отказ марксистов серьезно заняться вопросом национализма, что привело либо к катастрофическому конфликту с национализмом, либо к бездумному, оппортунистскому приспособлению к нему.

## **ДВА ПРИНЦИПА В ОПАСНОСТИ: ДЕМОКРАТИЯ, СЕКУЛЯРИЗМ**

Необходимость в ретроспективном и современном переосмыслении относится, среди прочего, и к нашему анализу двух граней современной политической жизни, которые в той или иной степени подвергаются опасности: демократии и секуляризма. После краха правых авторитарных режимов в середине и второй половине XX века (Германия, Италия и Япония в начале 1940-х; Испания, Португалия и Греция в середине 1970-х; Южная Африка, Бразилия и Чили в конце 1980-х) и коллапса левых авторитарных режимов (Россия, Восточная Европа в конце 1980-х) провозгласили «триумф» демократии. Здесь, однако, смешаны два разных утверждения: первое — что либеральная демократия по существу и в исторической перспективе есть наиболее подходящее и эффективное средство регулирования общества и что коммунистическая альтернатива невозможна; второе — что эта модель государственного устройства теперь, после холодной войны и краха коммунизма, а также других правых режимов Африки и Латинской Америки, преобладает по всему миру. Очевидное несоответствие между вторым утверждением и реальностью маскировали использованием таких терминов, как «развивающиеся» демократии, «распространение» демократии и даже учение об этом распространении — «транзитология»; нас уверяли, что в свое время все разберутся и изменятся в нужном направлении. Американские институты «сертифицировали» страны, где проводились выборы, и составляли квалифицированные рейтинги достигнутого уровня демократии.

Мы знаем сейчас достаточно, чтобы увидеть, что эта картинка сильно упрощена, а то и вовсе ошибочна: что демократия желательна, как заявил Фрэнсис Фукуяма в своем труде о «конце истории», — это вполне можно доказать, однако «действительность» демократии или вероятность того, что в некотором ближайшем политическом будущем она возобладает по всему миру, весьма сомнительна. Нечто распознаваемое и, при должном контро-

ле экономики, возможно, устойчивое появилось из посткоммунистических обществ, но это не западная демократия. «Транзитология», если под этим понимать исследование преобразования авторитарных государств в либеральные и демократические, смотрела в неверном направлении: это переход от одной относительно эгалитарной и идеологически спорной системы к другой еще более неравноправной и коррумпированной, но идеологически более, если не полностью, приемлемой.

В действительности, если мы обратимся к главной ценности международных отношений — «порядку», то реалистичный взгляд на развитие государства в бывших коммунистических или революционных странах после холодной войны увидит неожиданную и во многих отношениях пугающую картину. В некоторых государствах, например в бывших российских республиках (исключая Прибалтику), новые диктатуры консолидировали в своих руках контроль над экономикой и государством и по меньшей мере сохранили свою власть, привилегии и возможности для обогащения. В других странах (таких, как Китай и Вьетнам) бывшие коммунистические элиты сами стали создателями нового, и на данный момент успешного, авторитарного капитализма. Кое-где еще, однако, за крахом коммунистической власти последовал не какой-либо определенный новый порядок, будь то диктаторский, полуавторитарный или авторитарный, а крушение политического и социального порядка вообще и, в некоторых случаях, фактически впадение государства в анархию. Такой коллапс государства довольно распространен и весьма опасен: бесконтрольные полукриминальные области в Приднестровье, Косово, Нагорном Карабахе, хаос, образовавшийся после вторжений в Ирак и Афганистан, пояс беспорядка и насилия включает также Йемен на юго-западе Аравийского полуострова и Сомали на другом берегу Аденского залива. Анархия и насилие воцарились в регионе, который простирается от границ Афганистана с Китаем до границ Сомали с Кенией и Эфиопией. Для этих стран годы после окончания холодной войны стали временем глубоких потрясений, что драматически отражается и на остальном мире — от роста торговли наркотиками и пиратства до нападения Аль-Каиды на США в сентябре 2001 года. Как бы там ни было, эти государства не находятся в «переходном периоде» к какой-либо сходной с либерально-демократической модели или к самым минимальным требованиям концепции «порядка» в международных отношениях. Здесь коммунизма сменила не демократия, а насилие, хаос и крах государственности.

Если вопрос о демократии был окружен слишком простоватым оптимизмом, то то же самое относится и к вопросу религии. Строгость секуляризма, особенно необходимость восстановления, защиты и развития элементов в расширяющейся области радикальных социальных и политических теорий, конечно, следует приложить к вопросу о религии и авторитете якобы священных текстов, невидимых божеств и самопровозглашенных бородатых представителей этих идей и божеств в современном мире. Я здесь выступаю не против веры как таковой, которая может удовлетворить моральные и психологические потребности большей части человечества, причем так,

как рациональные идеи, очевидно, не могут, но против вмешательства — если не навязывания — в жизнь современного общества власти, основанной на сакральных причинах. Трудность заключается в том, что в нашем собственном обществе, а еще более — в США сохраняется уважение, чтобы не сказать преклонение к иррациональному суевию, к тому, что сейчас слащаво называют «верой».

Мое мнение по этому поводу, решительное и рациональное, тем более решительно, что я вырос в Ирландии и посвятил большую часть своей политической и научной работы политике на Ближнем Востоке. В этом регионе за последние 40 лет (возьмем в качестве отправной точки арабо-израильскую войну в июле 1967 года) я видел дискредитацию и вытеснение идеологий, базировавшейся на светских ценностях, будь то национализм насеритского толка или коммунизм, популистским исламизмом, который, хотя и заимствует словарь западного радикализма, отвергает проект Просвещения в целом. Я видел, что произошло в Йемене, Иране и Афганистане; более того, значительная часть интеллигенции в этих странах скатилась в иррационализм и ретроградную идеологию. То, что светские элементы израильского общества также подавлены потоком мракобесия и религиозных предрассудков, усугубляет проблему.

Защищая секуляризм, нет нужды преувеличивать, и здесь будет уместно упоминание о холодной войне. На Ближнем Востоке очевиднее, чем где бы то ни было еще, что модернистский проект Просвещения, намеченный в XX веке, формулировался и осуществлялся неадекватно и часто грубо. Как уже было сказано, мы не живем в мире, где неизбежен некий единообразный прогресс или где секуляризация и отход от веры повсеместны. Многие притязания рассудка оказались преувеличенными, а то и вовсе подкреплялись репрессиями. Конечно, величайшие преступления XX века были совершены не религиозным фундаментализмом<sup>25</sup>. Сам термин «секуляризм», который лежит в основе этой дискуссии, также может выиграть от пересмотра; во всяком случае, французы не должны обладать монополией на его определение. Однако при всех оговорках концепция Просвещения остается фундаментом, на котором возможно и, думаю, необходимо строить — она лежит в основе наших представлений о демократии, индивидуализме, правах и толерантности. Мы должны быть готовы заново их определить и отстаивать. Давайте уясним себе: фундаменталисты всех направлений безжалостны и решительны в достижении своих целей, они готовы не только затыкать рты, но и убивать тех, кто встанет у них на пути, а также, если понадобится, отправить всех нас в ад. Поэтому тем, кто противостоит фундаментализму, нужно больше определенности и решимости, нужна борьба. Наследие Просвещения по-прежнему актуально: битвы, начатые два века назад, еще не выиграны, о чем свидетельствуют вредоносные, хотя и неэффективные, деяния Папы Бенедикта XVI.

25 Из 187 миллионов «политических» убийств XX века очень немногие были совершены религиозными фанатиками и боевиками.

## РЕАЛИЗМ, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ И РАЗУМ

Если бы я должен был определить свое отношение к современным политическим прениям — на фоне краха и дискредитации радикальной коммунистической идеи и конца холодной войны, в мире очевидного неравенства, несправедливости и неэффективности, — я бы сказал, что мне по духу, если не буквально, близка позиция Юргена Хабермаса. Я говорю это не для того, чтобы связать себя с традицией Франкфуртской школы в целом, а чтобы поддержать центральную идею Хабермаса: необходимость твердой и зоркой критики современного капитализма; поиск пространства для расширения свободы внутри капиталистической модерности; развитие позиции, которая бы была связана с историческим материализмом и радикальными наследниками Просвещения<sup>26</sup>. Это не подразумевает необходимости ни отталкиваться от традиционного марксизма, ни придерживаться его, но скорее встраивает некоторые его положения в более широкую критическую и освободительную перспективу.

Порядок рассмотрения нового мира и идеологии нашего времени включает несколько компонентов. Прежде всего нужен реализм, взвешенная оценка распределения власти в современном мире и возможностей, открытых для стран, обладающих этой властью. Ни благостное оправдание существующего положения вещей, ни антиимпериализм в его прежнем виде не помогут нам понять, как, к примеру, США или Великобритания будут реагировать на стратегический и экономический кризис в современном мире. Этот реализм требует и скептицизма в отношении радикальных альтернатив, которые с конца 1990-х годов снова получили «всемирную» популярность, что проявилось, к примеру, в «Движении за глобальную справедливость», основанном в Порту-Алегре, — в кампании, которая мало, а то и вовсе не обращает внимания на негативные уроки прошлого века и истории революций. Кроме того, следует признать — пусть даже с осторожностью — инновационный и реформистский потенциал либеральной политики и экономики. Капитализм не раз разочаровал его приверженцев идиотизмом своей спекулятивной неопределенности и неумением распределять свое богатство, но ему случалось удивить и своих критиков, приводя кое-что в порядок.

Во-вторых, нужно возобновить курс на поддержку и широкое распространение ценностей, которые формируются и, в случае необходимости, реализуются вне нации, — необходимо заново сформулировать интернационализм. Этот интернационализм должен быть понят не как отрицание национальной идентичности, культур, законов и не как стирание национальных различий в ходе прогресса, как это было свойственно в XIX веке с его стремлением к монолитности и марксизму, и либерализму, но как признание за всеми этими явлениями обязательного разнообразия, как это подчеркнуто в работах Амартьи Сена, и того, что по многим вопросам международное должно

26 E. g. in Jürgen Habermas. *The Philosophical Discourse of Modernity*. — Cambridge: Polity, 1997.

преобладать над частным. Как я уже писал в другом месте, национализм должен иметь над собой высший суд, он должен «знать свое место».

Одна из самых неприглядных черт современного идеологического контекста состоит в том, что многие мыслители так или иначе капитулировали перед партикуляристскими концепциями, будь то национализм, релятивизм или постмодернистские фривольность и скептицизм. В этом контексте очень многие политологи и философы — но, к его чести, не наш недавний коллега Брайн Бэрри — сдались перед лицом якобы «общинного» дискурса. Контрнаступление против этой «местечковости» лучше начинать не с возвращения к марксизму как таковому: марксизм, одержимый идеей «прогресса», ошибочно считает подобные концепции преходящими, чем-то, что должно «выдохнуться»; коммунисты же и социалисты, с другой стороны, слишком легко приспосабливаются и готовы броситься даже в объятия национализма, изменяя универалистскому происхождению своих идей. Для разработки теории и практики эффективной интернациональной этики и политики нужно одновременно возродить космополитизм Просвещения, частично унаследованный марксизмом, и включиться в текущие дебаты в области политической и социальной теории о глобализации и ее альтернативах<sup>27</sup>. Богатейшие и сильнейшие государства должны признать, что в мире после холодной войны возврат к ограниченным ценностям «национальных интересов» столь же невозможен, сколь морально предосудителен. Отказ от борьбы с экологическими проблемами или от отношений «Север—Юг», если они не сопряжены с очевидной выгодой, указывает на провал попытки понять требования момента. Декларации о международном взаимодействии и реформе глобальных институтов, которые сопровождают финансовый кризис, не могут скрыть того факта, что крупнейшие эколо-

27 Это, в кратком изложении, и есть суть проекта, над которым я работаю в последние годы; частично он был опубликован в форме отдельных статей и глав, и я надеюсь завершить его публикацией книги, посвященной современной защите интернационализма, в 2010 г. Этой работе очень помогло возрождение of Senior Research Fellowship фондом Leverhulme Trust в 2003–2005 гг. и помощь CIDOV, the Barcelona Centre for Research and Documentation, в 2005–2007 гг. См. также мои работы: *Three Concepts of Internationalism* // International Affairs. — Vol. 64, N 2. — 1988. — P. 187–198; *The Perils of Community*, the 1998 Ernest Gellner Lecture, published in *Nations and Nationalism*. — Vol. 6, N 2. — 2000. — P. 153–171; *Revolution and World Politics*, chs 3 and 4; *Delusions of Difference* // *The World at 2000*; *The Fate of Solidarity: Uses and Abuses* // Christine Chinkin and David Downes (eds). *Crime, Social Control and Human Rights: Essays in Honour of Stan Cohen*, Oxford, Deer Park Productions, 2007; *Revolutionary Internationalism and its Perils* // Foran John, David Lane and Andreja Zivkovic (eds). *Revolution in the Making of the Modern World*. — London: Routledge, 2008.

Эти статьи более общей исторической ориентации сопровождались частными исследованиями по революционному интернализму (*Revolution and Foreign Policy, the Case of South Yemen 1967–1987*. Cambridge; Cambridge University Press, 1990; *Revolution and World Politics*), and of critiques of nationalist, religious and other ideologies on the other (*Islam and the Myth of Confrontation*, London, I. B. Tauris, 1995; *Nation and Religion in the Middle East*. — London, Saqi, 2000; *100 Myths About the Middle East*. — London, Saqi, 2005).

номики во главе с США стремятся в первую очередь найти внутринациональное решение проблемы.

Преобладание национализма и апелляций к релятивистским обоснованиям в межнациональных конфликтах и многих других областях межнационального напряжения усиливает нужду в чем-то ином, — в осторожном, но твердом настоянии на универсальных понятиях и обеспечении прав человека. События после 1989 г. дают массу иллюстраций тому: самое отталкивающее в новых националистических режимах, выросших в посткоммунистическом мире, — игнорирование ими общепринятых норм политического и социального поведения, будь то в отношении к этническим меньшинствам, инакомыслящим или женщинам, и снисходительность, с которой зачастую к этому относится, как и к националистическим и религиозным движениям третьего мира, либеральное общественное мнение в развитых странах. Во многих посткоммунистических странах практикуется оскорбительная дискриминация на национальной почве — не только в бывшей Югославии, но и в странах Прибалтики, Грузии, Румынии и в других местах. Исламские страны в своей практике управления возвращаются к праву шариата, причем никого, похоже, не волнует, что во многих своих аспектах — не в последнюю очередь в области равенства мужчин и женщин перед законом, а также в практике телесных наказаний — эти законы совершенно несовместимы с международными конвенциями, которые все эти страны подписывали. Шовинизм и насилие над иммигрантами в берлускониевской Италии лишь усугубляют эту тенденцию. Здесь постмодернизм и либеральная апология оказываются на службе у подавления и насилия. Не останавливаясь подробно на плюсах и минусах каждого отдельного случая, мы вправе указать, что сейчас время общего уменьшения симпатий к партикуляристским идеям и политике, время доброй тяги к универсализму.

И в заключение: холодная война закончилась и вряд ли вернется. Однако противоречия современного общества и политики, выражением которых стала она и коммунистическое движение, никуда не делись. Капитализм и либеральная демократия может быть и лучший возможный выбор, но они не решают большинства проблем современного мира, и мы забываем об этом, как это случилось во времена наивного рынопоклонничества прошлых десятилетий, к большой опасности для нас. Потребность в критических, радикальных и творческих идеях, выраженных в интеллектуальной критике и провозглашаемых политическими партиями и движениями, остается как никогда актуальной. Мы далеки от мира без идеологических альтернатив, как и от мира, где управленческие решения достаточны сами по себе. Именно это — даже в большей степени, чем опасность ядерной войны, роль идеологии или непрекращающиеся волнения в третьем мире, — главный урок и важнейшее наследие холодной войны.

*Перевод с английского Леонида Николаенко*